

Гёльдерлин и сущность поэзии

Памяти Норберта фон Хеллинграта,
погибшего 14 декабря 1916 г.

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

1. Сочинение: «Это невиннейшее из всех занятий»¹ (III, 377).
2. «Для того дана речь, опаснейшее из имуществ, человеку... чтобы он свидетельствовал о том, что он есть...» (IV, 246).
3. «Многое испытал человек, Многих назвал из небесных, С тех пор, как мы суть — разговор И можем слушать друг о друге» (IV, 343).
4. «Но то, что пребывает, устанавливают поэты» (IV, 63).
5. «Достойно, но все же поэтически проживает Человек на этой земле» (IV, 25).

Почему, с целью показа сущности поэзии, выбраны работы Гёльдерлина? Отчего не Гомер или Софокл, не Вергилий или Данте, не Шекспир или Гёте? Ведь сущность поэзии реализована также и в произведениях этих поэтов, причем даже более полно, чем в рано и внезапно обрывающемся творчестве Гёльдерлина.

Может быть. И все-таки избран Гёльдерлин и только он. Но возможно ли вычитать всеобщую сущность поэзии в работах одного-единственного поэта? Ведь всеобщее, что означает: то, что значимо для многого, мы можем получить лишь в сравнивающем рассмотрении. К тому же нужен образец возможно большего многообразия поэтических сочинений и видов поэзии. Притом поэзия Гёльдерлина — лишь одна среди многих других. Ее одной никоим образом недостаточно, чтобы задать масштаб для сущностной определенности поэтического творчества. А потому наш замысел неудачен с самого начала. Это так лишь постольку, поскольку мы понимаем под «сущностью поэзии» то, что собрано во всеобщем понятии, одинаково значимом для всякой поэзии. Однако это всеобщее, одинаково значимое для всякого особенного, всегда есть равнозначное [и безразличное — *das Gleichgültige*], та «сущность», которая никогда не может стать существенной. Однако мы ищем именно это существенное сущности, то, что принуждает нас к решению относительно того, примем ли мы поэзию всерьез и (как мы это сделаем), принесем ли мы с собой (и каким образом) предпосылки для того, чтобы находиться во владениях поэзии.

Гёльдерлин избран не потому, что его произведения, среди прочих реализуют всеобщую сущность поэзии, но единственно потому, что поэзия Гёльдерлина несет поэтическое назначение — собственно сочинять сущность поэзии. Для нас Гёльдерлин — *поэт поэта* в некотором совершенном смысле. Вот почему он избран.

Однако — сочинять о поэте — не является ли это знаком некоторого заблудившегося самоотражения и, равным образом, признанием изъяна в Полноте-Мира? Сочинять о поэте — не есть ли это беспомощное перенапряжение, нечто позднее и конец?

Все последующее даст ответ. Разумеется, путь, на котором мы получим ответ, вынужденно проходит по чужим владениям. Мы не можем здесь истолковать — как это должно было бы

¹ При использовании переводов Гёльдерлина, имеющихся в издании: Гёльдерлин, Сочинения, М., 1969 (в дальнейшем ГС), в примечаниях указываются имя переводчика и соответствующая страница.

быть сделано — отдельные стихотворения Гёльдерлина в замкнутом движении. Вместо этого мы обдумаем лишь пять ключевых слов поэта о поэзии. Определенный порядок этих слов и их внутренняя взаимосвязь должны открыть существенную СУЩНОСТЬ ПОЭЗИИ.

1

В письме к матери, (январь 1799г.), Гёльдерлин называет сочинение так: «это невиннейшее из всех занятий» (III, 377). В какой мере оно невиннейшее? Сочинение является в скромном образе *игры*. Оно свободно изобретает свой мир образов и задумчиво остается в области воображаемого. Тем самым игра уклоняется от серьезности решений, которые так или иначе всегда делаются обязательными. Поэтому сочинение совершенно безобидно. И вместе с тем оно безрезультатно; ведь оно остается простым сказыванием (*Sagen*) и говорением (*Råden*). Оно не имеет ничего от того дела, которое непосредственно включается в действительное и преобразует последнее. Поэзия подобна мечте, но не действительности, игре со словами, а не серьезности дела. Поэзия безобидна и безрезультатна. Что более безопасна, чем голая речь?

Правда, тем, что мы принимаем поэзию за «невиннейшее из всех занятий», мы еще не постигли ее сущности. Но, пожалуй, наряду с этим дан намек на то, где мы должны искать. Поэзия делает свое дело в области и из «материи» речи. Что говорит Гёльдерлин о речи? Мы слышим второе слово поэта.

2

В отрывочном наброске, относящемся к тому же времени (1800), что и указанный выше пассаж из письма, поэт говорит: «Но в хижинах живет человек и одевается в скромные одежды, ибо [он] сердечнее, а также внимательнее, и то, что он оберегает дух, как жрица — небесный огонь, [в этом] есть его разум (*Verstand*). И для того ему, подобному богам, даны произвол и высшая власть приказывать и исполнять, и для того человеку дана речь, опаснейшее из имуществ, чтобы он, творя, разрушая, и погибая, и возвращаясь к вечноживой Госпоже и Матери, — чтобы он свидетельствовал о том, что он есть [о том, что он] унаследовал [от нее, чему он] научен ею, ее Божественнейшим, вседержашей Любовью» (IV, 246).

Речь, область «невиннейшего из всех занятий», есть «опаснейшее из имуществ». Как это совместить? Сначала мы заберем вопрос назад и обдумаем три подвопроса:

1. Чьим имуществом является речь?
2. В какой мере она — опаснейшее имущество?
3. В каком смысле она вообще — имущество?

Обратим внимание прежде всего на то, на каком месте стоит это слово о речи: в наброске к стихотворению, где должно быть сказано о том, кто есть человек в отличие от других природных существ; названы роза, лебеди, олень в лесу (IV, 300 и 385). Поэтому, принимая во внимание удаление от других живых существ, приведенный отрывок начинается с: «Но в хижинах живет человек».

Кто есть человек? Тот, кто должен свидетельствовать о том, что он есть. Свидетельствование означает, во-первых, выказывание (*Bekunden*); но в то же время подразумевается: «в выказывании ручаться за выказываемое». Человек есть тот, кто он есть, именно в свидетельствовании собственного Вот-бытия (*Dasein*)². Это свидетельствование

² *Dasein* можно переводить по-разному, в зависимости от значения *da*, помещаемого в основу. Так, возможны формы: наличное бытие, тут-бытие, здесь-бытие, вот-бытие. Из этих современных форм к выражению соответствующей глубинной структуры ближе всего, по нашему мнению, «вот-бытие», в силу, во-первых, большей непосредственности и действительности, во-вторых, в связи с выказыванием, свидетельствованием и установлением. Однако в русском языке есть старорусский вариант указательного наречия: «се», напр.: «Се граду бысть». В соответствии с этим *Dasein* можно было бы перевести и как «се-бытие».

означает здесь не некое запоздалое и случайно протекающее выражение человеческого бытия, напротив, оно участвует в выработке вот-бытия человека. Но о чем человек должен свидетельствовать? О своей Принадлежности земле. Эта Принадлежность состоит в том, что человек есть наследник и ученик во всех вещах. Однако эти вещи находятся в противоборстве. То, что отличает вещи в противоборстве и притом равным образом смыкает их, Гёльдерлин называет «Сердечностью» (*Innigkeit*). Свидетельствование о Принадлежности к этой Сердечности происходит посредством творения и восхода некоторого Мира, так же как и посредством уничтожения и заката того же самого Мира. Засвидетельствование человеческого бытия и, тем самым, его действительное исполнение происходит из свободы решения. Она схватывает необходимое и связывает себя неким высочайшим требованием. Свидетельское бытие (*Zeugesein*) Принадлежности Сущему (*Seiende*) в Целом [*im Ganzen*] происходит как История. Для того, чтобы История была возможна, человеку дана речь. Она — имущество человека.

Но в какой мере речь есть «опаснейшее имущество»? Она есть опасность всех опасностей, поскольку прежде всего творит возможность опасности. Опасность есть угроза бытию посредством Сущего. Лишь благодаря речи человек подвержен некому Открытому (*Offenbaren*), которое как Сущее угнетает и воодушевляет человека в его вот-бытии, а как Не-сущее (*Nichtseiendes*) прельщает и разочаровывает. Речь впервые создает открытое место для угрозы бытию и смущения и таким образом — возможность утраты бытия, что означает — опасность. Однако речь — это не только опасность опасностей, но она необходимо таит в себе самой беспрестанную опасность для нее же самой. Речи поручено делать открытым в произведении и хранить Сущее как таковое. В ней могут прийти к словесному выражению как чистейшее и сокровеннейшее, так и запутанное и обыденное. Ведь даже существенное слово должно сделаться обыденным, чтобы стать понятным и тем самым стать общим достоянием. Соответственно этому в другом отрывке Гёльдерлина говорится: «Ты обращаешься к божеству, но все вы забыли, что первенцы всегда бессмертны, что они принадлежат к богам. Плод сначала должен стать обыденнее, повседневнее, и тогда он будет принадлежать смертным». (IV, 238). Чистое и обыденное равным образом суть сказанное. Слово как слово поэтому никогда непосредственно не ручайся за то, является ли оно существенным словом или же иллюзией. Напротив, существенное слово часто выделяется в своей простоте как несущественное. И то, что, с другой стороны, дается в убранстве видимости существенного, есть лишь рас- и пересказываемое. Так, речь должна постоянно располагаться в некоторой видимости, произведенной из нее самой, и тем самым подвергать опасности то, что ей наиболее свойственно — подлинное говорение.

В каком смысле, однако, теперь это опаснейшее является «имуществом» для человека? Речь есть владение. Он располагает ею с целью сообщения опыта, решений и настроений. Речь служит пониманию. Как пригодный для этого рабочий инструмент она есть имущество. Однако сущность речи не исчерпывается тем, чтобы быть средством понимания. Это определение не затрагивает ее собственной сущности, им лишь приводится некое следствие этой сущности. Речь есть не только рабочий инструмент, которым среди прочих обладает человек, но она вообще впервые предоставляет возможность стоять среди Открытости Сущего. Только там, где есть речь, там есть Мир (*Welt*), что означает: круг постоянных изменений решения и работы, дела и ответственности, но также и произвола и шума, упадка и замешательства. Лишь там, где господствует Мир, есть История. Речь есть имущество в некотором более первоначальном смысле. Она ручается вполне, что означает: она дает гарантию, что человек — как историчный — может *быть*. Речь — это не имеющийся в распоряжении материал, но именно то событие* (*Ereignis*), которое распоряжается высшей возможностью человеческого бытия. С этой сущностью речи должны мы вначале освоиться,

* ЕНД, 2-е изд. 1951: намеренно двузначно — строго говоря, надо было бы сказать «но событие, которое как таковое...».

чтобы истинно постичь область работы поэзии, а тем самым и саму поэзию. Как совершается речь? Чтобы найти ответ на этот вопрос, обдумаем третье слово Гёльдерлина.

3

Мы наталкиваемся на это слово в большом и запутанном наброске к неоконченному стихотворению, начинающемуся [со слов]: «Примирающей, которой ты никогда не верил...» (IV, 162 и далее, 339 и далее):

Многое испытал человек,
Многих назвал из небесных,
С тех пор, как мы суть разговор,
И можем слушать друг о друге. (IV, 343)

Из этих стихов мы возьмем прежде всего то, что непосредственно указывает на связь, обсуждавшуюся ранее: «С тех пор, как мы — разговор...» Мы — люди — суть некий разговор. Бытие человека основано в речи; но речь сначала совершается, собственно, в *разговоре*. Последний, однако, не просто способ, каким совершается речь, но речь существенна только как разговор. То, что мы обыкновенно считаем речью, а именно, состав слов и правила их соединения, есть лишь передний план речи. Но что тогда значит — «разговор»? Очевидно — говорение друг с другом о чем-то. При этом речь способствует приходу друг к другу. Однако Гёльдерлин говорит: «С тех пор, как мы суть разговор, и можем слушать друг о друге». Способность слушания не есть следствие говорения друг с другом, но, скорее, напротив, предпосылка этого. Однако способность слушания в себе уже выверена также возможностью слова и использует ее. Способность речения и способность слушания одинаково изначальны. Мы суть разговор, и это значит: мы можем слушать друг о друге. Мы суть разговор, что в то же время всегда означает: мы *суть один* разговор.

Однако единство разговора состоит в том, что всякий раз в существенном слове открыто Одно и То же (*Eine und Selbe*), в чем мы объединяемся, на основе чего мы единокорны и, таким образом, собственно, мы сами суть. Разговор и его единство несут наше Вот-бытие.

Но Гёльдерлин не просто говорит: мы суть разговор, но: «С тех пор, как мы — разговор...» Там, где наличествует и реализуется способность человека к речи, там еще не обязательно присутствует существенное событие языка — разговор. С каких пор мы суть разговор? Там, где должен быть один разговор, существенное слово должно оставаться в связи с Одним и Тем же. Без этого отношения невозможна даже перебранка. Но Одно и То же может быть открытым лишь в свете некоторого Пребывающего (*Bleibenden*) и постоянного. Постоянство и Пребывание (*Bleiben*), однако, обнаруживаются, когда вспыхивают неизменность и Настоящее (*Gegenwart*). Но это происходит в тот миг, когда открывается время в своих простирациях (*Erstreckungen*)**. С тех пор как человек ставит себя в Настоящем Пребывающего, лишь с этих пор он может подвергнуться изменяемому, приходящему и идущему; ведь только постоянное изменчиво. Лишь с тех пор, как «бурное время» разорвано на Настоящее, Прошлое и Будущее, существует возможность сойтись на Пребывающем. Мы суть *один* разговор с того времени, как оно есть время. С тех пор как время возникло и приведено к Стоянию (*Stehen*), с тех пор мы *суть* исторически. Оба — бытие одним разговором и бытие историчным — в равной степени стары, они принадлежат друг другу и суть одно и то же.

С тех пор как мы суть разговор — человек многое испытал и назвал многих из богов. С тех пор как речь собственно происходит как разговор, боги обретают слово, и является некий Мир. Но стоит снова заметить: присутствие богов и явление Мира не суть лишь следствие

** EHD, 2-е изд. 1951: сравни «Sein und Zeit», §§ 79-81.

события речи, но одновременны с ним. Причем настолько, что в именовании богов и в становлении Мира именно и состоит тот подлинный разговор, который мы сами суть.

Но боги могут войти в слово лишь тогда, когда они сами запрашивают нас и ставят [нас] под свой Запрос. Слово, которое именуется богов, — всегда ответ на такой запрос. Этот ответ возникает каждый раз из ответственности судьбы. Лишь когда боги заводят речь о нашем Вот-бытии, мы впервые вступаем в область решения о том, понравимся ли мы богам или же окажемся несостоятельными перед ними.

Лишь исходя из этого постигаем мы в полной мере, что такое: «С тех пор, как мы — разговор...». С тех пор как боги приводят нас в разговор, с того времени оно есть время, с тех пор основа нашего Вот-бытия — Разговор. Положение о том, что речь есть высшее событие человеческого Вот-бытия, получило тем самым свое толкование и обоснование. Но тут же встает вопрос: как начинается этот разговор, который мы суть? Кто осуществляет то именование богов? Кто улавливает в бурном времени Пребывающее и останавливает его в слове? В уверенной простоте поэта Гёльдерлин говорит нам это. Мы слышим четвертое слово.

4

Это слово образует заключение стихотворения «Память». Оно гласит:

Но то, что пребывает, устанавливают поэты. (IV, 63)

Это слово проливает свет на наш вопрос о сущности поэзии. Поэзия есть установление посредством слова и в слове.

Что устанавливается таким образом? Пребывающее. Но разве может быть установлено Пребывающее? Не есть ли оно всегда уже наличное? Нет! Именно Пребывающее, наперекор увлечению (*Fortreißen*), нужно привести к Стоянию; простое должно быть вырвано из путаницы, мера — поставлена во главу безмерного. Должно открыться то, что несет Сущее в целом и полностью над ним господствует. Бытие должно стать открытым, чтобы явилось Сущее. Но именно это Пребывающее есть текущее. «Настолько быстро / Преходяще — все небесное; но не напрасно» (IV, 163 и далее). Пребывание же последнего вверено «заботе и служению сочиняющего» (IV, 145). Поэт именуется богов и именуется вещи в том, что они суть. Это именование состоит не в том, чтобы снабдить именем то, что и до того известно, но тем, что поэт произносит существенное слово, благодаря этому называнию Сущее впервые возводится к тому, что оно есть. Так оно становится известным *как* Сущее. Поэзия есть установление бытия посредством слова. То, что пребывает поэтому никогда не создается из преходящего. Простое никогда не позволяет выхватить себя непосредственно из запутанного. Мера не находится в безмерном. Мы никогда не найдем основу в бездне; Бытие никогда не есть Сущее. Но так как бытие и сущность вещей никогда не могут быть вычислены и выведены из Наличного, они должны быть свободно сотворяемы, полагаемы и даримы. Такое свободное дарение и есть установление.

Но поскольку боги именуется изначально и сущность вещей находит выражение в слове, отчего вещи впервые высвечиваются, — тем, что происходит, бытие человека приводится в прочную связь и обретает основу. Сказ поэта есть установление не только в смысле свободного дарения, но равным образом и в смысле прочного обосновывания человеческого Вот-бытия на его основе. Когда мы постигаем эту сущность поэзии, состоящую в том, что она есть установление бытия посредством слова, мы можем предчувствовать нечто истинное в слове, сказанном Гёльдерлином, когда он давно уже был взят под защиту ночи безумия.

Пятое ключевое слово мы находим в большом и в равной мере чудовищном стихотворении, начинающемся так:

В ласковой синеве цветет
Металлической крышей церковная башня. (VI. 24 и далее)

Здесь Гёльдерлин говорит (см. 32 и далее):

Достойно, но все же поэтически проживает
Человек на этой земле.

То, что человек делает и производит, приобретено и заработано посредством его собственных усилий. «Все же» — говорит Гёльдерлин в резком противопоставлении этому — все это не затрагивает сущности его [человека] проживания на этой земле, все это не достигает основания человеческого Вот-бытия. Оно в своей основе — «поэтическое». Но теперь мы понимаем под поэзией устанавливающее именование богов и сущности вещей. «Поэтически проживать» означает: находиться в присутствии богов и быть затронутым близостью сущности вещей. «Поэтически» есть Вот-бытие в своей основе, — и это означает одновременно: как установленное (основанное) оно есть не заслуга, но дар. Поэзия — не просто сопутствующее украшение Вот-бытия, не только временное воодушевление и тем более не некое лишь согревание (*Erhitzung*) и развлечение. Поэзия есть несущая основа Истории и поэтому она не есть также лишь явление культуры и уж давно не простое «выражение» некоей «души культуры».

То, что наше Вот-бытие поэтично в основе, — это в конечном счете также не может означать, что оно есть, собственно, лишь некая безобидная игра. Но не сам ли Гёльдерлин называет поэзию в приведенном вначале ключевом отрывке «этим безобиднейшим из всех занятий»? Как это совместить с развернутой сейчас сущностью поэзии? Тем самым мы возвращаемся к тому вопросу, который мы сначала оставили в стороне. Теперь, отвечая на него, попытаемся вместе с тем поставить перед внутренним взором в некотором объединении сущность поэзии и поэта.

Сначала оказалось: область работы поэзии — речь. Поэтому сущность поэзии должна быть понята из сущности речи. Но потом стало ясно: поэзия есть устанавливающее именование бытия и сущности всех вещей, — не произвольное говорение, но то, посредством чего впервые вступает в Открытое все то, что мы затем обговариваем и переговариваем в повседневной речи. Поэтому поэзия никогда не воспринимает речь как наличный материал, напротив, поэзия сама впервые делает возможной речь. Поэзия есть изначальная речь некоего исторического народа. Итак, напротив, сущность речи должна быть понята из сущности поэзии.

Основа человеческого Вот-бытия — разговор как подлинное событие речи. Но первоначальный язык есть поэзия как установление бытия. Однако речь есть «из имуществ — опаснейшее». Таким образом, поэзия есть опаснейшее дело и, одновременно, «невиннейшее из всех занятий».

На самом деле — лишь когда мы мыслим оба этих определения, соединяя их в одно, мы понимаем всю сущность поэзии.

Но разве поэзия — самое опасное дело? В письме к другу, непосредственно перед отъездом в последнее путешествие во Францию, Гёльдерлин писал: «О, друг! Мир, раскинувшийся передо мной, кажется светлее и куда серьезнее, чем прежде! Мне нравится, как он устроен, нравится, когда летней порой «божественный старец спокойной рукой из тучи багряной сноп благостных

молний рассыпал». Ведь из всего того, в чем мне довелось узреть бога, это знамение стало для меня самым возвышенным. Некогда я был способен приходить в восторг от открывавшейся новой истины, от более верного представления о том, что есть над нами и вокруг нас; а теперь я боюсь, как бы мне в конце концов не попасть в положение Тантала, которому боги пожаловали столько яств, что старик уже не мог их переварить³ (V, 321).

Поэт подвержен молниям богов. Об этом говорит то стихотворение, которое мы признаем чистейшим поэтическим выражением (*Dichtung*) сущности поэзии, и которое начинается со слов:

Как в праздник на поля свои взглянуть
Выходит утром земледелец... (IV, 151 и далее)

В последней строфе стихотворения сказано:

Но нам подобаат, о поэты,
Под божьей грозой стоять с головой непокрытой.
И луч отца, его свет
Ловить и скрытый в песне
Народу небесный мир приносить.⁴

А годом позже, после того как Гёльдерлин, пораженный безумием, возвратился в дом матери, он пишет тому же другу, вспоминая пребывание во Франции:

«Могучая стихия, небесный огонь и спокойствие людей, их жизнь на лоне природы, их невзыскательность и довольство пленяли меня непрестанно, но, подобно тому, как говорят о древних героях, я и о себе могу сказать, что меня сразил Аполлон».⁵

Чрезмерный свет толкает поэта в темноту. Требуется ли еще доказательства высшей опасности его «занятия»? Все уже сказано собственной судьбой поэта. Как пророчество звучат тут слова из Гёльдерлиновского Эмпедокла:

...Тот, через кого говорил дух, должен вовремя уйти. (III, 154)

И тем не менее: поэзия — «невиннейшее из всех занятий». В своем письме Гёльдерлин пишет так, не только щадя свою мать, но и поскольку он знает, что эта безобидная внешняя сторона присуща поэзии так же, как долина — горе; ибо как бы осуществлялась и сохранялась эта опаснейшая работа, если бы поэт не был «изгнан» (Эмпедокл, III, 191) из Заурядного (*aus dem Gewöhnlichen*), принадлежащего дню, и защищен от него [Заурядного] видимостью безобидности его занятия?

Поэзия выглядит как игра, хотя и не является ею. Игра, правда, сводит людей, но так, что при этом каждый как раз и забывает себя. В поэзии, напротив, человек сосредоточен на основе своего Вот-бытия. Здесь он приходит к покою; конечно, не к кажущемуся покою бездеятельности и пустоты мысли, но к тому бесконечному покою, в котором деятельны все силы и связи (ср. письмо брату от 1 января 1799 г. III, 388 и далее)⁶.

³ Перевод Н. Гнединой (ГС. С. 513).

⁴ Перевод В. Микушевича (ГС. С. 153, 154, 155).

⁵ Перевод Н. Гнединой (ГС. С. 514).

⁶ Для большей открытости настоящей статьи Хайдеггера представляется важным привести слова Гёльдерлина о сущности поэзии из письма, упоминаемого Хайдеггером. «Уже столько раз говорили о влиянии изящных искусств на развитие человека, но всегда получалось так, будто говорили эти не всерьез, да оно и естественно, потому что они не задумывались над природой искусства и особенно — поэзии. О ней судили только по неприятательной внешности, которая, конечно, неотделима от ее сущности, но сама по себе вовсе не составляет характер поэзии; ее воспринимали, как игру, ибо она является нам в скромном обличий игры, следственно, логически рассуждая, и воздействует как игра, как развлечение, то есть оказывает действие, прямо

Поэзия пробуждает видимость недействительного и мечты, в противовес осязаемой и звучащей действительности, относительно которой мы полагаем, что она нам — родная. И все же, напротив, действительное есть то, что говорит поэт, то, чем он решается быть. Так, светлым знанием подруги, понимает Эмпедокла Пантея (III, 78):

...Быть им самим, это — жизнь,
А мы, другие, — суть мечта о том.

Так сущность поэзии кажется колеблющейся в собственной видимости (*Schein*) ее внешней стороны и однако — остается тверда. Она ведь сама и есть в сущности установление, что означает: твердое основание (*Gründung*).

Правда, всякое установление остается свободным даром, и Гёльдерлин слышит, как говорят: «Поэты свободны, как ласточки» (IV, 168). Однако эта свобода — не необузданный произвол и своенравное желание, но наивысшая необходимость.

Как установление бытия, поэзия *вдвойне* связана. Лишь имея в виду этот глубочайший закон, мы впервые вполне постигаем ее сущность.

Сочинение есть изначальное именование богов. Но поэтическое слово лишь тогда наделяется своей именующей силой, когда сами боги приводят нас к речи. Как говорят боги?

... и намеки суть
Издавна речь богов. (IV, 135)

Говорение поэта — подхватывание этих намеков, с тем чтобы в дальнейшем намекать ими своему народу. Это подхватывание намеков есть некое получение и в то же время некая новая отдача, потому что поэт уже в «первом знаке» видит также и законченное и дерзновенно вставляет это увиденное в свое слово, чтобы предсказать Еще-Не-Исполненное (*noch-nicht-Erfüllte*). Так

... летит, дерзкий дух, как орел навстречу
Грозе, пророчествуя, опережая
Своих приходящих богов. (IV, 135)

Установление бытия связано с намеками богов. И равным образом поэтическое слово есть лишь истолкование «голоса народа». Так называет Гёльдерлин сказания, в которых народ помятует о своей принадлежности Сущему в Целом. Но часто этот голос в себе самом утомляется и умолкает. И вообще он не может сам по себе высказывать Подлинное (*das Eigentliche*), — он нуждается в тех, кто его истолкует. Стихотворение под названием «Голос народа» известно нам в двух редакциях. Различны прежде всего заключительные строфы, однако различие таково, что они дополняют друг друга. В первом изложении конец звучит так:

противоположное тому, какое она [поэзия] оказывает, когда соответствует своей истинной природе. Ибо тогда человек обретает в ней самого себя и она дает ему покой не пустой, а жизнотворный, когда все силы пробуждаются и только их внутренняя гармония мешает заметить, что они не бездеятельны. Поэзия сближает людей, но не как игра, объединяющая только тем, что каждый забывает, играя, о себе и ничем не проявляет присущего ему живого своеобразия.

<...>

А теперь попробую добавить еще кое-что к уже сказанному мною о поэзии. Поэзия объединяет людей не так, как объединяет их игра, сказал я; она объединяет их когда она подлинная поэзия и оказывает подлинное воздействие, способствуя тому, чтобы они — со всеми их многообразными страданиями, радостями, стремлениями, надеждами и страхами, со всеми их суждениями и ошибками, достоинствами и идеями, со всем великим и мелким, что в них есть, — все больше сливались в одно живое, состоящее из тысяч звеньев, неразрывное целое, ибо именно таким целым и должна быть сама поэзия, а какова причина, таково и следствие». (Перевод Н. Гнединой. ГС. С. 498-499, 499-500).

Потому, что он благочестив, чествуя
В угуду Небесным голос народа, спокойный,
Хотя ради богов и людей
Он иногда слишком охотно бывает неспокоен! (IV, 141)

Второе изложение того же:

... и, пожалуй,
Хороши сказания, так как они — память
О высочайшем, хотя нужно также
Нечто, чтобы истолковывать святых. (IV, 144)

Так сущность поэзии включена в стремящиеся разойтись и соединиться законы намеков богов и голоса народа. Сам поэт стоит между теми — богами, и этим — народом. Он, выброшенный наружу изгнанник в это *между* (*in jenes Zwischen*), между богами и людьми. Но исключительно в этом Между, и прежде всего в нем, решается, кто есть человек и где он поселит свое Вот-бытие. «Поэтически проживает человек на этой земле».

Беспрестанно и все более уверенно, из полноты напирających образов и все проще посвящал Гёльдерлин свое поэтическое слово этому Меж-пределью (*Zwischenbereich*). Это заставляет нас сказать, что он — поэт поэта.

Будем ли мы теперь считать Гёльдерлина запутавшимся в некоем пустом и преувеличенном самоотражении из-за недостатка Полноты-Мира? Или же мы признаем, что этот поэт благодаря избытку напора поэтически прорывается мыслью в основу и в центр бытия? Самому Гёльдерлину подходят слова, сказанные об Эдипе в том самом позднем стихотворении «В ласковой синеве цветет...»:

Царю Эдипу и одного
Глаза, наверное, много. (VI, 26)

Гёльдерлин сочиняет сущность поэзии — но не в смысле некоего вневременно значимого понятия. Эта сущность поэзии принадлежит определенному времени. Причем не так, что она лишь делается соразмерной этому времени как уже существующему. Напротив, тем, что Гёльдерлин заново устанавливает сущность поэзии, он впервые определяет некое новое время. Это время богов сбежавших и бога приходящего. Это *скудное* время, поскольку оно находится в удвоенном недостатке и Ничто (*Nicht*): в Больше-Нет (*Nichtmehr*) богов сбежавших и в Еще-Нет (*Nochnicht*) Приходящего [бога].

Сущность поэзии, устанавливаемая Гёльдерлином, исторична в высшей мере, ибо она предвосхищает некое историческое время. Но как историчная сущность она — единственно существенная сущность.

Скудно время, и потому чрезмерно богат его поэт, — так богат, что часто хотел бы он ослабеть в воспоминаниях о бывшем и в ожидании будущего и только спать в этой кажущейся пустоте. Однако он прочно стоит в Ничто этой ночи. Так как поэт остается у себя самого в высочайшем отъединении, сконцентрированном на своем предназначении, он замещает свой народ и потому в самом деле добивается истины. Об этом возвещает седьмая строфа элегии «Хлеб и вино» (IV, 123 и далее). В ней поэтически сказано то, что нами могло быть разобрано лишь мысленно.

Но друг! мы приходим слишком поздно. Правда, боги живут, —
Но над головой, там, наверху, в другом мире.
Там они бесконечно творят и, кажется, мало считаются с тем,
Живем ли мы, так сильно берегут нас небожители.

Ведь не всегда хрупкий сосуд может вместить их,
Лишь иногда переносит человек божественную полноту.
Жизнь поэтому — сон о них. Но заблуждение
Помогает, подобно дремоте, а нужда и ночь делают сильными,
Пока герои не подрастут достаточно в железной колыбели,
Пока сердца, как прежде, по силе не станут подобны небесным.
Затем они приходят, гремя. Однако мне часто кажется, что
Лучше спать, чем быть так — без друзей,
Так ждать, — и что при этом делать и говорить,
Я не знаю. И к чему поэты в скудные времена?
Но они, скажешь ты, подобны святым жрецам бога вина,
Которые в священной ночи идут из края в край.